

КЛАВДИЯ ПУГАЧЕВА



1

1938 году в Театре сатиры (в Москве), где я работала, объявили, что Толстой будет читать свою новую пьесу «Чертов мост». Назначенного дня ждали как праздника. Все знали, что Тол-

стой читает изумительно, надо только ничего из слышанного не пропустить — лучшей трактовки никто уже потом не сможет подсказать.

Мы сидели в комнате, где обычно происходили репетиции, и ждали прихода Алексея Николаевича. Вошел крупный человек с обаятельным лицом, с чистыми детски-озорными глазами, шумный, веселый, элегантно одетый, ладный, уютный, заговорил просто, что-то сострил

и сразу снял то напряжение, которое было у присутствующих в ожидании большого писателя. Как-то по-домашнему он стал раскладывать свою рукопись, удобно устроился в кресле и начал читать. Мы, затаив дыхание, слушали, и только взрывы хохота прерывали тишину. Мне казалось, что он сам получал удовольствие от чтения, так как каждый раз, когда раздавался смех, он смотрел на нас поверх очков, прищуривал один глаз и довольный похмыкивал.

Еще до встречи с автором мне сказали, что я буду играть роль Зизи — жены депутата парламента, и поэтому во время чтения я особенно следила за каждым словом, за каждой интонацией Алексея Николаевича. Характеры героев становились ясными до мельчайших подробностей, персонажи в пьесе ощущались объемно.

После прочтения, когда умолкли аплодисменты, Толстой, обращаясь к режиссерам Н. М. Горчакову, В. Я. Станицыну и Л. Крицбергу, сказал: «Ну вот, даю вам свою пьесу на растерзание — постарайтесь сделать лучше, чем я читал». Все понимали, что лучше сделать было невозможно. «Чертов мост» — острый антифашистский памфлет, по определению автора — сатира-буфф, — для постановки был очень труден.

Замысел пьесы возник у Алексея Николаевича, когда он был в Германии, Испании и других странах в 1936 — 1937 годах; он уже тогда ощутил, что такое фашизм и какая страшная опасность грядет для мира. «Это была первая попытка автора осуществить антифашистскую пьесу, направленную без околичностей в лоб по врагу», — писал сам Толстой уже после премьеры.

Алексей Николаевич часто приезжал на репетиции, делал свои замечания.

С большим волнением я репетировала роль Зизи. Мое первое появление было в самом начале пьесы. Это сцена в баре около бензоколонки. Два бандита из шайки некоего Руди овладели бензоколонкой и баром, убив хозяина. Чтобы успешнее работал бар, они разбросали на шоссе колючки, которые прокалывали шины проезжавших мимо автомобилей. Владельцы их останавливались для ремонта у бензоколонки и в ожидании починки заходили в бар.

Здесь автор и сталкивает почти всех действующих

лиц пьесы — Артура Зелкина, депутата парламента от рабочей партии, и его жену Зизи, юную королеву Агнию и ее жениха принца Рейнского, Фому Хунсблата — премьер-министра, главу концерна тяжелой промышленности, гангстеров с их главарем Руди и рабочих.

На репетициях и после них Алексей Николаевич делал актерам замечания по каждому персонажу и по спектаклю в целом. Он требовал, чтобы мы осознали политическое звучание не только всего спектакля, но и каждой роли в отдельности. Он также говорил, что самое страшное в театре — дискредитация актера, осуждал режиссеров, которые иногда доводят актера до полной потери веры в себя.

Все участники до единого с необычайным вниманием и благодарностью относились к словам автора.

«Это ужасно,— говорил он,— актер никогда уже не сможет сыграть так, как мог бы это сделать в благожелательной атмосфере. Вам повезло. Виктор Яковлевич Станицын прекрасно работает, терпеливо и умно отбирает лучшее, что вы приносите на репетицию. С каким уважением он относится к вашему дарованию! Это чудесное качество педагога и режиссера. Я удивляюсь, как он справляется с вашей буйной фантазией и необузданным юмором. А в этом спектакле необходимо зрителя во многом убедить и заставить над многим задуматься».

Толстой вскрывал подтекст каждой фразы, каждого слова; становилось все понятно, и политическая направленность роли начинала звучать особенно четко.

«Вы поймите,— говорил мне Алексей Николаевич,— вы жена лидера парламентской оппозиции — «социалистического барона» — человека с самыми демократическими усами в государстве. Вы авантюристка, презирующая своего трусливого мужа, презирующая его заигрывания с рабочими, его пресмыкательство перед Хунсблатом. Встретив Руди, вы становитесь его любовницей. Положение ваше противоречиво. В вашей Зизи борются женская страсть к Руди, желание его удачи, которая зависит от свадьбы с королевой, и ревность к сопернице; сочувствие готовящемуся перевороту и боязнь катастрофы, которая погребет вашего трусливого мужа, лишит всех сбережений. В конце пьесы Зизи бежит одна в самолете за границу, прихватив все семейные капиталы.

Ее муж находит более скромное убежище — в багажнике автомобиля английского посла».

Я записала эти слова Алексея Николаевича в своей роли, они дали мне возможность глубже проанализировать и понять психологию и характер этой женщины.

На одной из последних перед премьерой репетиций Алексей Николаевич просматривал костюмы. Когда я вышла на сцену одетая в леопардовое платье с игривой шляпочкой, сделанной из лакированной черной кожи, Толстой одобрил. Я, довольная, уже уходила со сцены, когда услышала обращенные ко мне слова: «Зизи, повернитесь-ка! Ну что это за пошлятину вы воткнули в уши? Людмила, дай-ка ей свои серьги. Это подойдет к ее костюму». И молодая, красивая Людмила Ильинична, которая почти всегда приезжала вместе с Алексеем Николаевичем на репетиции, сняла с себя серьги и передала мне. Я поблагодарила и сказала, что постараюсь заказать точную копию — естественно бутафорскую.

Толстой придирался к каждой мелочи, но и радовался каждой удачной находке. Объясняя роль актеру, игравшему маркиза Дамьяка (он же гангстер Руди), Алексей Николаевич прочел монолог с таким точным видением того, о чем он говорит, что художник нашего театра тут же набросал несколько рисунков из родословной Амедея Дамьяка. Один из них выражал точный текст: «Это люди сумасшедшей силы... Бродяги, рыцари, которые одним духом выпивали бочонок пива, съедали барана и платили трактирщику доброй затрешиной...» Другой рисунок был подписан словами тоже из монолога Руди: «Рыжебородые бандиты, сидевшие, как коршуны, в своих замках вместе с борзыми псами и пленными турчанками...» И еще запомнилась подпись: «Мы поправляли свои дела, вступая в любовные связи с коронованными особами, это было своего рода ремесло, вызванное необходимостью». Рисунки были сделаны с большим юмором, и Толстой, разглядывая их, искренне веселился.

Образное мышление Толстого давало огромную пищу не только актеру, но и художнику, музыканту, а главное — режиссерам.

Актеры, занятые в пьесе, были великолепными мастерами сцены. Хунсблата играл Р. Г. Корф, принца —

Я. М. Рудин, королеву — Н. И. Слонова, Зелкина — В. Я. Хенкин, Руди — Р. М. Холодов, Азалию — камер-фрау королевы — Н. Нурм. Эти актеры были славой и гордостью нашего театра.

Премьера в Московском театре сатиры состоялась 9 марта 1939 года. Она прошла удачно, а мой успех в роли Зизи я целиком отношу за счет чтения пьесы самим Алексеем Николаевичем. Я сразу увидела эту женщину, поняла ее характер и даже манеру разговаривать с людьми. Алексей Николаевич потом часто спрашивал шутя: «Слушай, Клавдея» (произнося слово Клавдея с ударением на предпоследнем слоге), открой секрет, как ты дошла до того, чтобы так здорово и точно произносить по-английски «шатап» (заткнись)?» Я неизменно отвечала: «Не я дошла, а вы сами его произносили так во время чтения. Моя заслуга лишь в том, что я сумела услышать».

После премьеры Алексей Николаевич пригласил всех участников спектакля к себе на дачу в Барвиху. Мы выехали после спектакля, приехали поздно, боялись, что Толстой будет уже усталым, а так мечталось всем увидеть его в домашней обстановке! Хозяин встретил нас шумно, весело; стоя на пороге своей дачи, он кричал: «Лена, закрывай ворота, фашисты едут!» Лена, молодая девушка, с длинной русой косой, румяная, голубоглазая, приветствовала нас словами: «Милости просим, что ж так поздно, хозяйева заждались».

«Алешенька, простудишься», — услышали мы голос Людмилы Ильиничны. И Толстой, загребая нас, быстро стал втаскивать в переднюю. Пока мы раздевались, Алексей Николаевич, ударив в гонг и скомандовав: «Лицедеи, за мной!», стал по-детски озорно подталкивать нас в комнаты.

В комнатах было тепло и красиво, горели свечи в бра на стенах и в шандалах на огромном сервированном столе. Вкусно пахло пирогами. Все разом застонали и стали вдыхать аромат пищи, шумно втягивая воздух носами. Девушка, которая нас встретила, появилась в этот момент с огромным блюдом пирожков, но от нашей выходки засмушалась. Алексей Николаевич мгновенно включился в игру: «Лена, ты чего? Ставь пироги. Они ведь носом едят, носом». Все засмеялись.

Все было необыкновенно — сами хозяева, сама дача. Особенно кабинет Алексея Николаевича с бревенчатыми стенами, блестящими при свечах.

Старинная мебель, подобранная с большим вкусом и любовью. Картины старинных мастеров, великолепные люстры, масса цветов. Ничего лишнего, каждая вещь — на точно отведенном для нее месте. Какая-то предельная гармоничность. На всем — отпечаток вкуса, привычек и наклонностей хозяина. И что особенно пленило нас — всюду было необыкновенно уютно.

На столе, помимо прекрасной сервировки, стояли какие-то бочечки, боченочки. Пили водку «особо жестокую», ели огурцы, засоленные для хруста вместе с гвоздем, капусту с брусникой и грибы необыкновенного аромата. На огромных сковородах подавалось жаркое, и чего-чего только не было. А тосты в честь каждого из нас Алексей Николаевич, очевидно, придумал заранее, так как каждый тост шел под взрыв хохота. То он говорил стихами, то прозой. За столом сидели очень долго, не хотелось пропустить ничего, о чем говорил Алексей Николаевич. После шуток перешли на серьезные темы. Потом Людмила Ильинична предложила пройти в другие комнаты.

Только тут мы опомнились, увидя за окнами рассвет, и стали собираться домой. Алексей Николаевич уверял, что всех можно уложить спать и зачем это ехать сейчас, лучше — прямо к спектаклю, а день проведем вместе. Многим из нас очень хотелось остаться, но наш худрук П. М. Горчаков уже подал команду к отъезду, и мы стали прощаться. Прелестная жена Алексея Николаевича раздала сувениры. Алексей Николаевич очень веселился, целовал на прощанье, помогал одеваться и нарочно путал пальто. Под конец он обратился к Горчакову и стал говорить с ним об актерах, как о детях, наставляя его, чтобы он не очень-то нас распускал, а то начнутся безобразия в спектакле. Горчаков уверил Толстого, что в спектакле играют артисты серьезные и этого случиться не может.

Когда мы садились в машины, было чудесное утро. Толстой вышел на порог, и последнее, что мы услышали, было: «Людмила, выйди! Благодать-то какая, благодать!»

И все-таки, играя «Чертов мост» и произнося слово

«фашизм», мы еще не понимали всей глубины и трагедии этого страшного явления. Только в Великую Отечественную войну по-настоящему оценили все то, что было предугадано Толстым. Слова из пьесы: «Будет война... О, какая будет война! Большая, истребительная, беспощадная...» — зазвучали для нас совсем в новом качестве.

2

Во время недолгого пребывания Толстых в Ташкенте, в дни эвакуации, я с мужем часто бывала у них, и каждая встреча была для меня праздником.

У Толстых я познакомилась и подружилась с поэтом Константином Липскеровым, с писателем, другом Горького Александром Николаевичем Тихоновым-Серебровым, с Митей Толстым, жившим тогда у отца. Семья Пешковых, художница В. М. Ходасевич, С. М. Михоэлс, А. П. Потоцкая, К. И. Чуковский были завсегдатаями этого дома. Впервые я увидела там Анну Андреевну Ахматову, слушала, как она читает свои стихи. Мне это было особенно интересно, так как тогда на концертах я исполняла ее стихотворение, написанное в 1941 году, «Первый дальнобойный в Ленинграде».

А какое разнообразие людей окружало Толстого — кто только не тянулся к нему, и каждого он умел приветить и обласкать. Оптимизм Алексея Николаевича заражал всех — становилось легче дышать.

Алексей Николаевич иногда заходил к нам в маленькую комнату, где мы с мужем временно жили в Ташкенте. Это было в центре Ташкента — на Пушкинской улице, 29, на первом этаже, и у нас всегда был народ. Приходили мои товарищи по театру, ученые, инженеры, знакомые по работе мужа, кто-то проездом останавливался у нас.

Толстой любил людей и с большим интересом относился к ним. Не успев переступить порог нашей комнаты, говорил: «Так на чем же мы остановились?» Однажды, постучав в окно, Толстой крикнул: «Клаша, иду с интересным предложением» — и, войдя, продолжал: «Будешь читать отрывок из «Петра Первого». С Эммануилом Каминкой я уже договорился — он будет читать из «Хмурого утра», а я до вас выступлю с небольшим до-

кладом и буду читать свои статьи. Придется выступать много, но это необходимо сделать, меня об этом просят».

Я стала уверять Алексея Николаевича, что не смогу этого сделать, да и, честно говоря, просто боюсь. Алексей Николаевич стал настаивать, доказывая мне, что все будет здорово, что он сам со мной займется: «Я тебе просто прочту несколько раз, и ты все поймешь». «Надо это сделать очень быстро, вот тебе книга — учи текст». Он тут же отметил, что надо учить — приезд Саньки Бровкиной к князю Буйносову — и где сделать вымарки. «Через два дня зайду и прослушаю». У меня от страха в зобу дыханье сперло, а с другой стороны, мучительно хотелось, и страшно было подумать: выступать после Толстого и рядом с Эммануилом Каминкой, который был уже профессиональным чтецом.

Начались занятия с Алексеем Николаевичем. Он рассказывал мне о том, чего хотел Петр от бояр и купцов, что значит «делать в доме политес», «делать плезир», что из себя представлял князь Буйносов и вся его семья, кто такая Санька Бровкина, и вообще говорил о периоде, когда Россия утверждала свое право быть в первом ряду европейских держав. Он ходил по комнате, говорил громко, потом надевал очки, брал книгу и, продолжая ходить, начинал читать.

Читал он выразительно, темпераментно, с каким-то особым азартом и эмоциональностью, передавая удивительные оттенки характера каждого персонажа, как мужского, так и женского, меняя тембр голоса и манеру говорить.

А как Алексей Николаевич изображал дев Буйносовых просто во всплесках: «Ах, и ах, и ах». И слова: «Напугала, матушка, страсть какая — в Париж! Чай, там погано» — он произносил так выразительно, так неповторимо! Да, этот большой художник обладал особым умением передать событие, характер. Он очень смешно показывал, как «Санька запустила два пальца за низко открытый корсаж (Роман Борисович заморгал: вот-вот сейчас женщина заголится), вытащила голубенькое письмецо». Я много раз пыталась повторить движения Алексея Николаевича, пока мне не удалось это сделать, как говорил Толстой, «по всей статье французской».

Алексей Николаевич любил театр, знал его и, как

писал о нем Н. Ф. Погодин, «с какой-то ревностью и страстью всю свою жизнь стремился к театру». Когда он читал, я смотрела на него как завороченная и даже от восторга открывала рот. Тогда он, не выключаясь из чтения, кричал мне: «Закрой рот, Клавдѣя, а то проглотишь автора» — и продолжал дальше.

Перед самым выступлением я вновь читала Алексею Николаевичу этот отрывок раз пять, и каждый раз он делал мне замечания и успокаивал, что все будет хорошо.

Первое наше выступление было в русском Драматическом театре г. Ташкента. Алексея Николаевича публика встретила овацией. Он читал свои статьи и разговаривал на волнующую всех тему о войне, потом читала я, и заключал наш вечер Эммануил Каминка. Как правило, вечера-концерты проходили с огромным успехом, и мы выступали часто. Иногда после концерта в честь Толстого устраивали встречу-прием, и мы с Эммануилом Исааковичем всегда присутствовали. С каким огромным уважением, любовью и интересом относилось к Толстому местное население! Люди как-то особенно раскрывались, и Толстой по достоинству умел оценить это.

Алексей Николаевич был доволен нашим творческим ансамблем, и в голове его рождались разнообразные планы, которые и я и Э. И. Каминка восторженно разделяли. Думалось о Москве, о победе, о театре. Толстой собирался написать большую, «могучую», как он говорил, пьесу-эпопею о русском народе-освободителе. И одновременно комедию — о тех, кто мешает жизни.

К великому горю, Алексей Николаевич не дожид до победы, в которую он так верил, для которой он столько сделал. На память об этих последних месяцах нашей дружбы я бережно храню подаренную им фотокопию известного портрета работы П. Корина.